

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



РАЗВЕРЗНИСЬ, ЗЕМЛЯ...

ПОВЕСТЬ

I

В конце августа одинокая вдова Лидия Печень из деревни Заливье собралась в лес за Дуть, чтобы на заброшенной леспромхозовской делянке собрать на зиму дров. Податься туда, за реку, ей посоветовал сосед Кодя, живший от её хатки через два дома. Кодя всегда ей помогал. И сейчас, сообщив Лидии, что слышал от лесника Николая Костки, будто лесорубы на этой делянке после лесоповала убирать не планируют, пообещал привезти ей дрова, как только она их заготовит.

Она обрадовалась: коли так, перезимует в тепле, ведь лесорубы после себя немало хорошей древесины оставляют, никому она не нужна.

Кодя, сидя на Лидином подгнившем крыльце, ещё сказал, что лесорубы будто бы собирались жечь валежник, чтобы передать убранный делянку леснику Николаю Костке (это его участок), но лесничий запретил: лето сухое, ещё перебросит ветер искру с делянки на бор — огонь его вмиг сметёт. А бор вековой, его тоже не сегодня-завтра повалят, так что...

Если послушать Кодю, выходит, она может смело идти на ту делянку за реку и никого не бояться. Николай Костка, пока ему не передали делянку, там не хозяин. И вообще, как бы плохо Николай к ней ни относился, но это

САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 году в деревне Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, критик, публицист, эссеист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

же не батьковщина ему, не его личное хозяйство, а вроде как бесхозное. “Вдруг подойдёт, — говорил Кодя, — так ты, тетушка, скажи ему: “Никодим сказывал, что это не твоё”

Ушёл, а она заволновалась: вдруг Костко нагрянет, скажет, что Никодим ему не указ, запретит собирать дрова, что тогда? Конечно, был бы при ней Никодим, так заступился бы, а так... Но он целый день в поле, с трактора не слазит.

Кодю она жалела: старый холостяк, давно живёт без родителей — умерли, одногодок местного начальства Реута, Витьки и Мишки Каминского. Обычный механизатор, они им брезгают, не берут к себе в компанию: кто он для них? Они же — при должностях, образованные. А он отработает в поле, грязь с себя смоем да к телевизору — никуда не ходит, и дивчины у него нет. Вообще-то перевелись они в Заливье. Стоит которой расцвести, так её сразу кто-нибудь из соседней деревни — под венец, а та, какую парни обходят, — в город съезжает.

Хороший парень Никодим, легко ему советовать Костки не бояться, только ей от этого не легче. Она-то его всю жизнь боится, особенно с войны. Правда, раньше, когда была моложе, не так боялась, как сейчас. Случалось, встречал её на брошенной лесорубами делянке, якобы уже переданной Костке как леснику под посадку. Грозился — и не раз! — акт составить, а она смело отвечала: “Давай, пиши, да не боюсь я тебя! Я же хворост собираю, ты его всё равно сожжёшь... А если что — и на тебя управу найду... — Ты на что намекаешь?” — подступал он тогда к ней. Наверное, как Лида думала, боялся, что она не выдержит да и расскажет людям о его злодеянии, совершённом одной далёкой мартовской ночью. “А ни на что, — отвечала она, поднимая на всякий случай дубину, — только подойди, только попробуй что-нибудь со мной сделать — Кодя знает, где я, за тебя же и возмутся... — Ладно, ладно, — отступал он, — смотри мне...”

На том и разошлись. Хотя иногда Лида думала: “Он — такой, может встретить где-нибудь в лесу подальше от людей, пырнёт чем-нибудь в грудь да и втопчет под какой выворотень и — поминай как звали!” А сейчас ему не до неё, не до леса: Николай уже который день отмечает крестины внучка. И она решила, послушав Кодю: “Завтра же пойду в лес...”

В избе, небольшой, без перегородок, было тепло и не так свежо, как на улице. Она достала из-под кровати бутылку магазинной водки, решила взять с собой: мало ли что, вдруг приедут лесорубы да к ней... Тогда откупится.

Затем она завернула в чистое полотенце свежих, недавно собранных с грядки огурчиков, немного хлеба, брусочек сала: собралась, можно и лечь, впереди ночь, а завтра — в дорогу...

II

Ночью Лида так и не смогла заснуть: почему-то было тревожно на душе. Вроде ни о чём конкретном не думалось, да и не хотелось ни о чём думать, а всё равно время от времени думала об одном: заготовлю дрова или кто помешает?

Когда стало светать, взяла узелок в одну руку, в другую — острый, отточенный Кодей топор и вышла из хаты.

Улицей идти не хотелось. Не потому, что намного дальше, а потому, что нужно будет идти мимо Николаевого дома, возле окон, выходящих на улицу.

В доме Николая уже неделю гуляли. Шумели, как хотели, единственное — не дрались. Но это Николая и его гостей дело: у человека родился внук. Пусть празднуют на здоровье... Но Николай особенно гадкий, когда пьян. Придирается. Не только к ней, к любому сельчанину, кого встретит на улице.

Нет, улицей она не пойдёт, а через свой огород, потом напрямую, через колхозный скошенный луг к мосту через речку — лес совсем близко.

Решила идти ближней дорогой.

Когда вошла в огород, услышала, что у Николая по-прежнему шумно, словно и не ложились спать. Знала: Маня, Николаева невестка, жена его сы-

на Витика, местного бригадира, наконец-то через семь лет замужества родила мальчика — как здесь не гулять, радость-то какая!.. Гуляют сам дед, Николай, Витик, отец, участковый Мишка Каминский, Реут, председатель сельсовета, и Матвей Кот, Косткин друг.

Знала также, что женщин в доме нет, — давно разошлись: в первый день пришли, как водится в таких случаях, посмотрели ребёнка, мать одарили кто чем мог, выпили по рюмке и пошли по домам — сейчас у каждой своих хлопот немало.

А мужчины — им хорошо гулять: сами себе хозяева, у них — власть!

Сам старей Костка вдовец. Его жена Авгинка умерла три года тому. Кровью плевалась. Поговаривали, что Николай отбил несчастной всё внутри. Кто знает... Говорят люди разное, может, кто и со зла. Умерла-то в больнице, Николая никто в чём не обвинял, не допрашивал. А зять, когда Авгинку хоронили, поддерживал Костку: “Держись, отец, такова жизнь...” И Витик со своей Маней успокаивали Николая: “Ничего не поделаешь, судьба...” Вот и гадай, что да как.

Маню в деревне не любили. Не потому, что Витик привёз её из райцентра, а потому, что с презрением посматривала на деревенских женщин. И проведать её и ребёнка пришли только несколько сельчанок: фельдшер, две учительницы, завфермой, завсберкассой на почте — раз-два и обчёрлся. А мужчин хватало. Мало ли их в Заливье в подчинении и у Николая, и у Витика...

А солнце поднималось всё выше. На улице уже были слышны голоса женщин, выгоняющих на пастбище коров. То у одного двора, то у другого лениво начинали лаять собаки. А вот на дворе Кота, лучшего Николаевого друга, пёс выл долго и глухо. Полкан всегда так воет, когда Кот надолго сажает его на цепь... Кем только не был Кот: и бригадиром, и финансовым агентом, и заведующим почтой, и просто специалистом куда пошлют, и сейчас Матвей при хорошей должности — то ли сторож, то ли уборщик при сельсовете.

Да, Кот такой, умеет приспособиться. Он уж если что — и из-под вил выскользнет. Здесь проворуется, там пропьётся, в третьем месте совсем опозорится, но всегда Николай каким-то образом приспособит его на четвёртое, да на такое, что в тепле, при начальстве. С него всё как с гуся вода.

Оно и понятно — Матвей с Николаем друзья, водой не разольёшь. А Николай всю жизнь водится не только с местным начальством, а даже с районным. Ещё бы, у него зять в районе, можно сказать, первый человек: боятся зятя, боятся и тестя. И Кот при них. Он даже с Николаевым зятем здоровается за руку и называет того “Шурочка”. А тот не обижается, зовёт Кота дядей Матвеем. Наверное, неспроста...

На лугу Лида на мгновение остановилась: сразу за межой, в низине, хорошо взялась зелень, и роса на ней была крупная, с горошину.

Лида почему-то подумала: хорошо, что её хата в Заливье последняя, никому она не мешает, и ей никто.

Заливье — старая, довольно большая, одной улицей деревня. Начинается она от сельсовета, здание которого стоит на пригорке, поросшем старым вишняком. Когда-то, ещё до войны там были развалины дома панского управляющего. Здание сразу же после революции разрушили и разобрали по кирпичику. И уже в наше время, когда организовывали сельсовет, лучшего места для него не нашли. Наверное, это правильно: не поставишь же строение местной власти в низине, возле лозняка и ольшаника, напротив её, Лидиной, хаты. И сельсовет, расположенный на возвышенности, виден с любого двора...

Лида привыкла жить на отшибе. Она смирилась со своим одиночеством, со своим горем, со своей отдалённостью от вроде бы счастливых и беззаботных людей.

К ней без причины редко кто заходит. Если женщины — так зимой, попросить сушёных трав от простуды. Лида никому не отказывает, в травах она понимает — мать Мишки Каминского научила, та настоящая травница была. Дружили они. Лида всегда рада, когда её зелье людям помогает...

Вскоре она подошла к лесу, к мосту через Друть. Это был старей, ещё перед войной построенный мост, очень узкий. По нему лесорубы не ездят,

да и Кодин трактор с тележкой еле проходит. Плашки на мосту прогибаются, подгнили, того и гляди, может рухнуть.

Осторожно, чтобы не ступить в какую-нибудь расщелину между плашками, Лида перешла мост, зашла в лес и, почувствовав себя спокойней в его утренней прохладе, ускорила шаг.

III

В то время, когда Лида выбралась в дорогу, надеясь, что Николай Костка не заметит, как она через огороды направляется к лесу, на гулянье, не прекращающееся который день, к нему и его сыну Витику, местному колхозному бригадиру, приплёлся участковый Михаил Иванович Каминский или, по-деревенски, Мишка-милиционер.

Мишка считал, что у него есть две причины в столь ранний час навесить дядьку Николая. Первая и очень важная лично для него: надо немедленно опохмелиться. Вторая — примирить Костку и Кота, поссорившихся вчера из-за какого-то пустяка.

Знал Мишка, страшное это дело — ни за что ни про что человеку жизнь поломать, но и не прислушиваться, когда “поступал сигнал”, не имел права: такова служба.

Мишка хорошо понимал сельчан, а они его... Потому и водка у него всегда дома была, и к водке. Сначала, когда ещё не пристрастился к ней, не почувствовал на себе всю ее пагубность, держал на всякий случай — вдруг начальство нагрянет, придётся пригласить... Конечно, тогда он выставит магазинную, а потом — эту, “хлебницу” (Николай всегда говорил, что умные люди да те, кто при должностях, “народнице” отдают предпочтение).

Раньше Мишка в одиночестве никогда не пил. И гордился этим: не алкоголик, а так, любитель... Кот говорил: “Пьёшь один — пропадёшь не за понюх табаку: алкаш!..”

Мишка знал, что закадычные друзья Костка и Кот частенько ссорятся, хотя вроде и в шутку, но, случается, и зло. Потом, будто спохватившись, быстро мирятся.

А тогда вдруг, никому неизвестно почему, схватились в сених, где оказались вдвоём. Мишка, Реут и Витик сидели в хате за столом, когда услышали там шум. Пока опомнились, встали из-за стола, дверь из сеней в прихожую отворилась, ввалились Костка и Кот, орут друг на друга, хватают за грудки.

— Вы что не поделили?.. — вышел из-за стола Мишка и сразу же осёкся: Николай словно пригвоздил его к скамейке:

— Сидеть, шпана!..

Мишка опешил, сник... Слышал, как Кот, стараясь схватить Николая за воротник рубашки, орал:

— Это я прилип к тебе, как банный лист?.. Да ещё надо посмотреть, кто ты такой, а кто я! Ты меня — в грязь, а я тебя за это благодарить должен? Нет, друг, Кот чист. Кот — не ты... Кот — человек, и честь у него есть...

Неизвестно, чем бы всё кончилось, если бы не встрял Реут. Поднявшись из-за стола, он решительно стал между Косткой и Котом:

— Хватит вам! Уважаемые люди, друзья. Нашли когда и где отношения выяснять... За стенкой же роженица и ребёночек...

А тем временем из-за перегородки подала голос Витикова жена:

— Отец, дядя Матвей, успокойтесь! Испугаете мне маленького, хари расквашу!

— Ноги моей у тебя больше не будет! — прошипел Кот в лицо Костке и вышел из хаты.

— А ты куда свой нос сунёшь? — вдруг набросился Костка на Реута.

Реут сел. Обиделся. Витик клевал носом в стол. Мишка сразу же хотел уйти: Николай сейчас, словно разъярённый бык, — что здесь делать? — да Костка приказал:

— Сиди, Иванов сын!.. Ты здесь, может быть, единственный, кого я уважаю: офицер милиции — власть! А это — труха. — Он повернулся к двери: — Пусть идёт!..

Мишка уйти не осмелился. Даже, как ему показалось, немного отрезвел: крут Николай, крут. Ему, хочешь не хочешь, а надо подчиняться. Крепко он здесь укоренился, и пока зять в районе хозяйничает, Костку — не тронь!.. Да и друзей сейчас у него среди всякого мелкого начальства — не счесть. Все это знают. Везде у него поддержка. Иначе давно такого лесника погнали бы: лес государственный загоняет направо и налево. Но все, видя это, вынуждены молчать: своя рубашка ближе к телу. И он, Мишка, молчит. Почему? Да потому что и он, хотя и принят Николаем в свою компанию, на самом деле никто здесь. Поддержки у Мишки в районе нет. И если разобраться, у него и с биографией не всё в порядке: развёлся, значит, бросил семью, разрушил ячейку общества, из армии ушёл, где служил на сверхсрочной, оказался не у дел... Мишка, между прочим, всегда будет помнить, что именно Косткин зять посоветовал начальнику милиции взять его на службу, а зятя попросил Николай. После увольнения из армии Мишка вернулся в деревню, в заколоченный родительский дом — отец с матерью давно умерли. Всё, что имел, оставил бывшей жене. Не пара они были: она — дочь командира полка, а он — крестьянский сын.

Мишка, вернувшись в деревню, о своей беде рассказал Витику, школьному товарищу, и дядьке Николаю. Не знал, куда податься, не имея гражданской специальности...

Николай решил — куда: в участковые...

После того как поссорились Кот и Костка, когда Матвей ушёл, Мишка, может быть, уже в тысячный раз уяснил, кто в Заливье хозяин. И покинул он гулянку ближе к полуночи, когда Николай сказал: “Иди, поспи, а утром приходи...”

IV

Утром Мишка был у Костки.

Сели за стол. Мишка спиной к окну, Костка напротив него.

Николай не спеша налил по рюмке. Выпили.

— Я, Иванов сын, знаю, что вчера погорячился, — сказал Николай. — Кота обидел невзначай. Кажется, и Реута тоже. Но ты должен понять: неделю в заботах, в голове туман, устал, как ломовая лошадь, дома всё на мне... А Кот, старый дурак, в хомут, ничего ему сказать нельзя... Моду заимел! Я ему слово, а он мне пять в ответ, будто не знает, что мне не возражай!.. А вот перед Реутом как-то неудобно. Всё же бывший директор школы, председатель сельсовета. Его я уважаю. И Шурка, зять мой, уважает. Говорит, пусть покрутится год-два в сельсовете — в район возьму, там свои, местные кадры нужны, они надёжны, не то, что приезжие... В конце концов, дело не в этом. Не хочу, чтобы по деревне судачили, как мы, местная власть, меж собой не ладим. Не надо людям видеть, что между нами могут быть недоразумения. Так скажи мне, Иванов сын, как здесь быть? Сам я к ним не пойду мировую пить. Видимо, потребуется твоё вмешательство в наш разлад. Помогите.

— Помочь? Почему же, я... Но как? — вяло сказал Мишка.

— Просто. Вот позавтракаем — пойдёшь к Коту и Реуту. Вроде невзначай скажешь, мол, Костка переживает, сгоряча глупость случилась. Дескать, идите, повинитесь. И пусть это исходит не от меня, а от тебя. Да скажи, мол, дядю Колю тоже понять нужно: устал, устал... Скажешь, нечего друг на друга дуться, мировую пить надобно... Тебя они послушают, а передо мной могут и повыкобениваться, мол, сам сначала повинись... Это я должен повиниться? Нет, брат, уволь! Тем более перед Котом. Реут — иное, отходчивый. А Кот, хотя и друг мне, а обиду долго таит. Он будет вокруг собакой верной крутиться, а почувствует слабость твою, может и цапнуть!.. Но говорю тебе, дело не в этом. Не надо, чтобы люди видели, как рвётся наша цепь, цепь из нас четверых, если не считать моего Витика. Его вообще ни к чему нашему приплетать надобности нет. И вообще, поработает, окрепнет, в сельхозакадемию приладим, окончит — найдётся ему подходящая должность в ином месте... В общем, ты понял: все должны знать, что мы вместе, и должны бояться нас, как и раньше: сила и власть!

— Так-то оно так, дядя Коль, — сказал Мишка. — Только зачем, чтобы люди нас боялись? И так вы с ними строго... Вы будете давить, Витик, Реут, я... Среди людей живём. Кляузы посыплются, сигналы. Сейчас, сами знаете, в верхах на сигналы с мест обращают внимание.

— А что тебе сигналы? Пусть сигнализируют. У меня Шурка есть. Вот тебе и сигналы... Да если хочешь знать, на меня уже столько написано и в район, и в область, и выше, что... Дескать, такой-сякой, лес — налево-направо... А ты докажи, где это я и когда “налево-направо”? Меня государство на этот пост поставило, ему и служу... Да, знаю, строг. А как иначе?.. И тебе надобно быть строгим. Люди нынче распоясались.

Неизвестно, как долго бы ещё философствовал Николай, если бы что-то за окном его не отвлекло. Он вдруг резко вобрал голову в плечи, словно кот перед прыжком на добычу, и, глядя мимо Мишки в сад, просипел:

— О! Зачем далеко ходить?.. Вот одна птичка уже сама в работу просится. Тут мы её и прихлопнем! Дурочка, думает, Николай спит без задних ног... Конечно же, ждала момента, когда я расслаблюсь. Иди, иди. Я тебя на месте застаю, да всё — по факту!..

Мишка плохо соображал: глупости какие-то несёт... Случается такое с ним: вдруг ни с того ни с сего сам с собой начинает разговаривать...

— Слышь, Иваныч, — Костка вдруг тяжело поднялся с места, — ты к Реуту и Коту поспешай, пусть часа через два приходят. К завтраку. А я отлучусь на время. Смотри мне, чтобы обязательно пришли!

— Придут, куда они денутся, — заверил его Мишка.

Поднялся из-за стола и, пошатываясь, вышел из дома...

V

...А часа через два, когда солнце поднялось довольно высоко и уже заметно пожелтело, из леса к сельсовету прибежала Лида. На ней были порваны юбка и кофта.

Возле крыльца Лида упала на землю, раскинула окровавленные руки. Начала пальцами обессиленно царапать землю, простонала:

— Вяжите меня, люди...

Упала она как раз перед участковым Михаилом Каминским, тяжело выходящим из сельсовета. Мишка собирался возвращаться к Костке, надо было сообщить тому, что Реут и Кот “восстали”, требуют, чтобы сам Николай пришёл к ним и повинился. Мишке предстояла незавидная миссия, он был расстроен: что ему на это скажет Николай?..

Мишка, выйдя от Костки, когда тот засобирался в лес “прихлопнуть” какого-то нарушителя, сразу же направился к зданию сельсовета. Он знал, что Реут и Кот должны быть там: надо же и им опохмелиться да обсудить вчерашнее. А где, как не у Кота в боковушке?..

Он не ошибся.

Кот и Реут, видимо, Мишку заметили издалека, ибо, как только он завернул в сельсоветский двор, на крыльцо вышел Матвей. Пригнулся, чтобы его не заметили из деревни, нетерпеливо замахал рукой:

— Скорей, скорей, Иваныч.

А когда Мишка приблизился, Кот спросил:

— А где же Николай?

— Да дома, — сморщился Мишка.

— Дома?

— Да...

Кот многозначительно кашлянул в кулак, первым зашёл в здание, не спеша протопал в боковушку. Мишка — за ним. Здесь, на табуретке за столом, стоявшим у окна, занавешенного тяжёлой грязной шторой, сидел Реут. Невысокий, круглый, налитой, он держал в руке погасшую сигарету и затуманенным взглядом смотрел на Мишку:

— Однако присядь...

Мишка присел на табурет рядом.

Он хотел пошутить, дескать, кто рано встаёт, тому Бог даёт. Но Кот, то-

же невысокий, как и Реут, только худой, лысый, с маленькими острыми глазками, вдруг возмущился:

— Выходит, Иваныч, ты Николаев переговорщик? Он напакостил нам, а тебя...

— Почему это переговорщик? — перебил его Мишка. И, через силу усмехаясь, — вновь внутри начало жечь, — снял фуражку, вытер рукой потный лоб, сел на табурет.

— Давай, давай сюда, — Кот взял у него фуражку, повесил на гвоздь на стене. — Почему, спрашиваешь? Да чтобы Кот не знал Николая?.. Да я с ним...

И будто подавился, закашлялся, ещё чаще заморгал глазами, казалось, вот-вот заплачет от обиды.

— Да хватит вам, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Мы все враз словно ополоумели... Случается, поссорились. Разве пристало нам один на одного обижаться? Кому из нас от этого хорошо?.. Люди, может быть, только и ждут, чтобы мы перегрызлись. Вот увидят, что между нами нет согласия, как говорит дядь Коля, на головы нам сядут. А мы же — власть!..

Мишка нарочно сделал акцент на последнем слове. Думал, Кот подберет, он — тоже “власть”. Хотя какая Кот “власть”! Так, прилипала к представителям власти, к Реуту и Мишке. И если разобраться, Костка тоже не имеет к власти никакого отношения. Сам себя властью над людьми наделил. Власть порочит, а люди — терпят. Им жить надо... Знал, Кот любил выхваляться: “Мы в сельсовете... Мы с участковым...”

— Брось, Миш, власть!.. — сказал Кот. — Власть — это ты с Реутом. А мы с Николаем... Думаешь, Кот такой уже и глупый, ничего не петрит? Нет, брат, Кот тёмно-то тёмно, а разумение имеет, что к чему в жизни... Так вот, как были мы с Николаем лапотниками до войны, такие и есть, такими и подохнем... Только он, вишь, всё же к власти смог приладиться, должность государственную получил, пока я после войны бригадирил да бабами командовал... Я же как был, так и остался пошайлой... Да не из-за власти я с вами, коли так! Мне дорого, что вы меня от себя не отгальваете, молодые да учёные. И добрые вы, не то что он, гад. Он на Кота — тьфу!.. Кот для него уже и не человек... А сам Николай кто такой?.. Да я, может быть, о нём такое могу людям поведать, что...

И осёкся. Понял, что сказал лишнее: кто за язык дёрнул? От неожиданности сжался, испуганно посмотрел на Реута и Мишку.

— Да хватит сердиться, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Что вам делить? Такую войну пережили, столько лет вместе. Надо помириться...

— А сам-то, а сам почему не явился? — не сдавался Кот.

— Да не с руки ему. Манька с малым, Витик на наряд ушёл, хозяйство на нём... Я что, уже вам не товарищ? Что, не могу помирить?

— Можешь-то можешь...

— Просил на завтрак прийти, — сказал Мишка. — Часа через два. Пусть по хозяйству управится.

Реут слушал их молча, словно его это не касалось.

— Но всё же ты мне ответь, почему не сам? — не сдавался Кот. — Что, гонор не позволяет? Лесник, ветеран и зять — не последняя фигура в районе... Нет, Михаил, и Кот человек, а не тряпка. И Кот честь-гонор имеет. И Кот воевал не хуже, чем он. Но у Кота нет такой должности, нет такого зятя... Вот моё последнее тебе слово: я перед ним шапку мять не буду. Пусть сам придёт да повинится. Так и передай ему. А то...

— Что “а то”? — не понял Мишка.

— Да это так. К слову, — вновь словно опомнился, что не то сказал, Кот. — Это меж мной и им... Не знаю, как Василь Карпович, — посмотрел он на Реута, требуя поддержки, — а я не пойду.

Мишка понял, что парламентёр из него плохой. Да и вообще, пошёл, как дурак. Что, сам Николай не мог?

— Если уж так, то я пойду, — сказал он.

Мишка поднялся, надел фуражку, вышел на крыльцо, ещё не решив, пойдёт к Николаю или домой, спать, как вдруг вздрогнул, подался назад, услышав:

— Вяжите меня, люди...

Женщина лежала перед ним на земле, как распятая... И уже стон:

— Вяжите, вяжите меня...

“Я что, с ума сошёл?... Или она с ума сошла?..”

Мишка не понимал, что происходит. Застучало в висках. Показалось, земля вздыбилась перед глазами, а на ней — словно распятая женщина...

— Вяжи меня, Миша...

Нет, с ума он не сошёл... Всё в реальности. В самом деле, перед ним на земле лежала распластанная женщина. Лида Печень. Вдова. В порванной одежде, руки в крови.

Мишка соскочил с крыльца. Наклонился над ней. Лида перестала стонать. Тело её судорожно вздрагивало.

— Ты что плетёшь? — заорал он. — Кого вязать?.. За что?..

— Меня, меня, — задыхаясь, проговорила она. — Человека я убила.

Мишка, показалось, протрезвел. Простонал:

— Кого?.. Что ты мелешь?..

Лида медленно подняла голову, бесцветными, сухими глазами посмотрела на него:

— Николая... Костку... Обидчика моего.

Она села, сгорбилась, словно под тяжестью, медленно повела головой по сторонам, будто удивляясь сказанному. По её поникшим плечам рассыпались длинные седые волосы, их слегка трепал ветер.

И первое, о чём сейчас совсем некстати подумал участковый Михаил Каминский, что она — без платка. Всегда, и в холод, и в жару, как он помнил, Лида носила тяжёлый платок, покрывая им голову, как все пожилые деревенские женщины.

— Приставал...

Она привстала на колени, затем резко выпрямилась, подняла вверх серое морщинистое лицо с острым подбородком. Правой рукой попробовала перекреститься, сложила вместе три пальца, но рука замерла у лба, словно кто-то удержал её на переносице.

Пальцы разжались, рука скользнула на затылок, собрала там волосы.

— Приставал... Повалил... Не помню, как бутылка в руке оказалась... Ударил, а из него и дух вышел... Вяжи, Михаил...

Да-а... Уби-и-ила!.. Вот оно что... И не лишь бы кого, а Костку... “Так вот кого утром Николай увидел в окне, когда говорил, чтобы Мишка к Коту и к Рету пошёл. Так вот кого собирался “прихлопнуть”, — догадался Мишка.

“Всё, Михаил, ты — в капкане”, — холодно подумал он о себе. Шутка ли: убийство на участке. Ну, что ж, надо звонить в райотдел, доложить дежурному, пусть приезжают, разбираются, забирают убийцу...

Стоп! Он словно опомнился... Это же сейчас начнётся: куда смотрел участковый... Сразу же придет начальство, следователь, прокурор. А ты, участковый, как есть перед ними — тёпленький: берите меня, товарищи начальники... Мало того, что не предотвратил убийство, так ещё и пьяный... Не пожалеют. Погонят из органов. Что тогда делать? Как дальше жить... А как хочешь... Не знаешь? Подскажем: бери вилы да на ферму навоз бросать. У тебя же нет никакой специальности и репутация подмочена... Всё!..

Вот так, тетушка. Нашла когда и кого убивать! Да он, говорят, ещё до войны твоим полубовником был... Приставал... Мало кто к кому пристаёт! Дура, от дура, радовалась бы, что в твои-то годы кто-то интерес к тебе имеет. Так он бы сам тебе этого проклятого ломья насобирал, и горя не знала бы. А так сгниёшь в тюрьме, сколько тебе вообще ещё отпущено жить?

Пошатываясь, Мишка отступил от Лиды. Тяжело опустился на крыльцо.

— Эх, тётка, тётка, — покачал он головой. — Что же ты со мной сделала?..

Лида не ответила. Наверное, ещё по-настоящему не пришла в себя.

Мишка ещё что-то говорил. Но тихо, сам себе. И все его мысли сводились к одному: конец мне...

Сейчас у него не было жалости ни к Лиде, ни к Костке, которому многим был обязан, ни к Витику: он жалел себя. И ему было страшно обидно,

что вот так, из-за какой-то глупости, ставшей причиной убийства, рушится его жизнь. И никто уже не может ему помочь: убили-то его благодетеля, Николая Костку.

— Как же так, тётка? — проговорил растерянно Мишка и посмотрел на Лиду.

Был Костка — и нет его...

Как это случилось, почему? Ведь ничего подобного здесь не было ни при его предшественнике, ни при нём, Каминском.

Да, случалось, дрались ребята из-за девчат на гулянье. Или ещё из-за чего. И он, Мишка, когда пацаном, подростком, парнем был, случалось, дрался. Но дрались только до первой крови, и лежачего не били. А здесь...

А что здесь?.. Ему уже становится понятно, что убийство не преднамеренное. Одежда на Лиде порвана, руки в крови, наверное, и синяки на теле есть: ясно, спьяну пытался изнасиловать, жил без жены много лет, силушка ещё не ушла, женщины захотелось... Пьяный дурак! Выходит, оказала сопротивление. Если хорошенько подойти к этому делу, да по-человечески рассудить, Лиду даже могут оправдать. Тогда на Николае — пятно.

Да что пятно? Неслыханный позор: пожилой мужчина, уважаемый человек хотел изнасиловать пожилую женщину...

А может быть... Мишка, ещё не додумав до конца, вдруг повеселел... Может, схитрить, переодеть её, сказать, чтобы умылась, а уже тогда звонить в район?.. Хотя кого этим обелишь? Костку?.. Да и зачем? Тому уже всё равно землю парить, а Лиде — сидеть. О себе подумал: приедут, так и этак сорвут погоны — пьян! — заберут оружие, и — вон поди!

Куда тогда Михаилу деться?..

VI

Мишка не знал, сколько времени прошло с того момента, как он вышел на крыльцо и увидел преступницу: час, два, три... Казалось, вечность. Он по-прежнему не знал, что ему сейчас делать: сразу же позвонить в район, доложить начальству, как и положено по службе, задержать её, изолировать или попробовать каким-то образом оттянуть время, хорошенько обдумать, как самому подобру-поздорову выйти из этой ситуации.

Сообщить — неизвестно, что тебя ждёт, можно только догадываться... Подождать — просто оттянуть время свершения того, чего он больше всего боялся... Сколько и как он ни размышлял, но не находил выхода из создавшегося положения.

Неизвестно, сколько бы ещё он был один на один с этой женщиной, если бы на крыльцо не вышли Реут и Кот. Они через окно наблюдали за тем, что происходило возле здания. Сначала ничего не понимали. Но потом, когда Реут увидел, как Мишка порывается броситься на женщину, уразумел: страхась какая-то беда, и сказал Коту:

— Дядя Матвей, похоже, что-то нехорошее приключилось...

Кот тоже понял это:

— Идем, нечего прятаться.

Кот вышел вслед за Реутом на крыльцо и, выглядывая из-за его спины, попробовал пошутить:

— Что за шум, а драки нет?

Мишка повернулся на голос, обиженно сказал:

— Какой шум? Какая драка?.. Лучше бы и шум и драка: Николая убила.

— Нихт ферштейн, — все ещё шутил Кот. — Как убила? Шутить?

— Да не ферштейнай, дядь Матвей, не до шуток, — разозлился Мишка. — Как убила... Так и убила... Бутылкой по голове. Всё, конец Костке. Говорит, и не мяукнул. Говорит, приставал. Вот тебе и на!..

Кот на мгновение смолк. Замер. Потом его худое тело, словно обёрнутое в большой для него кортовый пиджак, дёрнулось, как в конвульсии, он широко раскрыл беззубый рот, будто ему не хватало воздуха, заревел:

— А-а-а... Убью, змею!

— Тише! — Реут зажал ему ладонью рот. — Люди сбегутся...

Кот замолк. Посмотрел на улицу — никого.

— Ах, ах, — просипел он. — Надо было нам её в сорок третьем шлепнуть... Да её...

Сказал, но к Лиде почему-то не рвался.

— Не смей её трогать, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Держи себя в руках. Экспертиза будет, смотри, чтобы и знака твоего на её теле не было. А то ещё и тебя по судам затаскают. Ясно?

Кот согласно кивнул головой: дескать, понимаю, не дурак.

— Коли так, разбирайтесь сами. Я же человек маленький... — он махнул рукой.

Подумал: убила... Неужто? Кого? Николая!.. Того, кто всю жизнь клинился ей в полюбовники... Вишь, приставал. А что, мог! Вон в сорок третьем, выгнав меня из хаты, пристал — так пристал... Нет, Кот ещё с ума не сошёл, чтобы свои руки в чужой крови марать. Да я её и пальцем не трону... Но надо же показать, что убит горем.

— Колька, — застонал он, — Колька, друг мой дорогой... Брат.

— Успокойся, успокойся, дядь Матвей, — сказал Мишка. — Тихо, тихо... Мы с Реутом поведем на место преступления. Надо посмотреть, что там и как. Потом позвоним в район. А к тебе просьба: пока никому ни слова. Посади её в склеп и жди нас.

Мишка выкатил из-под навеса мотоцикл, завёл. Реут сел в коляску.

VII

Лида, очутившись в склепе, куда её запер Кот, поняла, что отрезана от всего света холодной тьмой, покорно, нащупывая ногами ступеньки, спустилась вниз.

Тьма здесь была густая, тяжёлая. Лида на ощупь нашла какой-то перевернутый ящик, опустила на него.

Глаза долго не могли привыкнуть к темноте. Повернувшись к двери, увидела, что оттуда через щёлочку цедится ниточка слабого света.

Странно, но подумалось, что так было и в её жизни: немного света вначале, а потом... Особенно сейчас, когда всё против неё... Да, если подумать, всё, что сегодня случилось, ничего хорошего ей не сулит. Хотя произошло это против её воли...

А было так...

...Когда Лида перешла мост и вошла в лес, подумала, что на меже между своим и Косткиным огородом её мог увидеть лесник. Подумала без страха: ну, и что? Да не боится она его, девчонка, что ли...

Старый лес возле моста глухо шумел. На утреннем солнце светились стволы сосен. На дорогу падали их влажные тени, хотя казалось, что на губах чувствуется горькая пыль.

Не оглядываясь, Лида немного постояла на дороге, словно ей нужно было отдышаться после долгой и утомительной ходьбы, затем решительно двинулась дальше.

Где находилась делянка, она знала: может быть, через какой километр, не более. Но чем ближе Лида подходила к ней, тем более непонятное волнение охватывало её. Несколькими раз она даже собиралась повернуть назад, но, вспомнив, что Кода обещал приехать вечером и забрать дрова, шла дальше.

Как и говорил Кода, на делянке среди хламья попадались неплохие берёзовые обрезки. А это уже дрова настоящие. Много их было ближе к ручью.

Выбрав незахламлённый пятачок у дороги, она начала потихоньку стягивать туда обрубки. Вскоре устала, кофта прилипла к плечам. Решила отдохнуть, притянула небольшой берёзовый круглячок и села на него. Развязала узелок, собралась перекусить — уж и под ложечкой сосёт, с утра во рту росинки маковой не было. Взяла краюшку хлеба, откусила, начала не спеша жевать. В кустах всполошилась сорока. Затем над Лидиной головой скользнул коршун, упал посреди делянки в траву. Затрещали кусты, показа-

лось — ломится секач. Испугалась: диких кабанов в лесу хватает, отпрянула — куда спрятаться?.. Нет — Костка. Вышел прямо на неё.

— Что, испугалась? — заржал он, останавливаясь рядом.

Конечно, испугалась, но не ответила.

— Если по-хорошему, так нечего тебе бояться. Ишь, трепещешь, как осина...

— А чего, Николай, мне бояться? Я же не в твоём лесу собираю обрубки, так что с того? Кодя сказал, здесь можно.

— А кто такой твой Кодя? — разозлился он. — Сопляк! Он сказал... Да мало ли что он скажет... Батьковщину нашла! Кто тебе велел здесь самовольничать? Я?..

Костка подошёл ближе. От него несло спиртным. Увидела: глаза мутные, а в левом — кровавая капля, наверное, лопнула жилка.

— Так что же мне делать? — растерянно спросила Лида и добавила, рассуждая: — Я же живое не валила. Обрубки собирала, валежник. Всё равно, если их люди не подберут — сожгут. А что не сгорит, гнить будет...

Лесник, казалось, прислушался, стал добрее, что ли.

— Н-да-а, — вымолвил он. — Спрашиваешь, что делать?

— Не знаю, — пожалала она плечами. И, подумав, что он вдруг захотел ей помочь, понял её состояние, сказала: — Присядь, Николай. У меня и капля есть, и к капле. Может быть, поладим.

— Присесть-то можно, — согласился он. — За этим дело не станет.

Костка сел рядом на круглячок, снял форменную фуражку, положил рядом. Ждал.

Лида показала на узелок, всё есть: и бутылка, и закуска, и даже алюминиевая кружка.

— Подкрепишь, — пригласила она. — Вот, взяла, думала, придёшь. Мне самой к тебе не с руки было идти, гости у тебя.

— Магазинная, — отметил Николай. Он взял бутылку, отвернул пробку.

Он налил себе, выдохнул, усы его поползли под нос, верхняя губа чуть ли не завернулась, обнажив жёлтые зубы, поднёс кружку ко рту, вбросил в себя содержимое.

— А ты?

— Нет... Я вообще её не пью.

— Как хочешь... От меня никто нигде никогда ещё не спрятался. Под землёй найду.

— Что правда, то правда, — будто согласилась она.

Он почувствовал её интонацию, понял так: перечит.

— Что, не нравится? — он начинал злиться. — Брехня?

— Правда, правда, — уже и она разозлилась. — И в войну, и сейчас — со дна моря вырвешь.

Это действительно было так. Не было тогда, да и сейчас нет людям от него послабления. Случалось, в войну придёт в деревню с Котом. Кот от Николая — в сторону, будто ни при чём, пока тот всё в хате да в сарае не перевернёт. Николай что найдёт, то и возьмёт. И еду, и одежду. А если хозяйка или какой старик хозяин воспротивится, ткнёт в лицо пистолет:

— Кобызишься? Не хочешь помогать народным мстителям? Пришью как изменника...

Попробуй противиться!

— Далась тебе война! — Николай готов был вот-вот взорваться. — Было — сыпало. Думаешь, мне легко было в холоде и голоде воевать?.. Это твоему на фронте хорошо было: и кашу с мясом вовремя поднесут, и кожан с валенками дадут...

— Может быть, моему Володьке на фронте всё это и подносили, не знаю. Но почему вы с Котом, если вам об этом известно, не захотели есть фронтovou кашу и носить тёплое, а в первые же дни, как немцы пришли, дома объявились? Почему в партизаны не пошли с самого начала, когда они о себе знать дали, а выжидали, кто осилит: наши или немцы?..

— Это я дома сидел? Это я выжидал? — вскочил он, как ошпарен-

ный. — Да, да... Если хочешь знать, мы с Котом окруженцы! Знаешь, сколько таких было?

— Много, Николайка, много, — словно согласилась она с ним. — Только окружены с первых дней начали партизанить. И сколько ни приходили в деревню, по углам не шарили да оружие в лицо не наставляли. Попросят: “Мамаша, может, поесть дадите или что из одежды...” Вот кто партизаны! Люди таким последнее отдавали. А вы с Котом...

— Ты меня не заводи! — вскочил он. — Да если хочешь знать, мы связными были! Втайне от всех. А когда надо было, ушли в лес. От!.. Не за здорово живёшь я нынче в почёте!

— Знаю, в каком ты почёте... А я говорю то, что знаю: какие же вы партизаны... Самозванцы!.. И не кипятись, — совсем осмелела она. — Всю жизнь под тобой ходила, боялась, боялась, да перебоюсь.

— Много говоришь! Всё пустое, баба глупая, — будто бы успокоился он. Сел. Вновь налил. — Выпью?

— Да пей, пей.

Выпил мгновенно. Как в трубу влил, кадык даже не дернулся.

— А ты?

— Говорю же, не пью. В груди болит.

Костка неожиданно наклонился к её лицу. Глаза его сузились, ткнул пальцем:

— Эти груди болят?... А когда-то твердые были. Помнишь? Скажи на милость: болят...

И засмеялся, нехорошо, угрожающе.

— Отстань! — отпрянула она от него и больно укололась спиной о какой-то сучок. — С ума сошёл?

— Почему? — ощерился он. — Дело давнее. Хорошо помню, какая у тебя грудь была. Аль забыла?

Вновь ткнул пальцем в грудь.

Нет!.. Она не забыла. Это — как выжженное в сердце, незаживающее клеймо... И он, зверь, на старости лет ей ещё и напоминает о том, о чём она никогда не забывает — ни днём, ни ночью; вот уже почти сорок лет — униженная, оскорблённая, растоптанная, — в страхе и стыде прячет от людей. Хотя, наверное, они всё же догадываются о гнетущем её позоре... Иначе иной раз в злобе не упрекали бы языкастые бабы: “Николаева подстилка...” Напоминает о том, как душу её изувечил...

— Зверь ты был, зверем и остался, — её губы вздрогнули.

— Я зверь?! — удивился он. — Осмелела... А ты хорошо вспомни, может быть, ничего и не было, а?... Дура кручёная! Пошла бы за меня — как сыр в масле каталась бы. А то, вишь, Володьку выбрала. Думала, век с ним жить будешь, как за каменной стеной, а оно — вон как обернулось, одна кукуешь.

— Моё горе всегда со мной, с ним и доживу. Только, скажу я тебе, такому хорошему, не очень нажилась с тобой твоя Авгинка. Бил так, как и животное не бьют. Неделями, горемычная, на люди не показывалась, царство ей небесное.

— Моя жена: хотел — бил, хотел — нет. Не убил же, сама отошла.

Она чувствовала, что Николай еле сдерживает себя. Он не может простить ей, что когда-то, девушкой, отказала она ему, пошла за своего Володьку. Наглый был Николай и злой. Она его не то что не любила, а ненавидела... А это уже ей знать, как жила с Володькой несколько лет, отпущенных судьбой. Хорошо жила. Сыночка ему родила. А горе — это её горе... Может быть, судьба у неё такая, и не надо искать виноватых. Сжилась, смирилась со своей вдовьей долей: не вернулся Володька с войны — кто виноват... Сколько таких, как она, вдов даже в том Заливье? Все мужчины, кроме Костки и Кота, остались на фронте, а не прибежали домой шкуру спасать. Большинство не вернулось с войны, где-то лежат, кто в своей земле, а кто и в чужих краях. А если вернулся, то жил или живёт тихо и мирно, не бахвалится своим геройством: словно ничего и не было. Это Костку и Кота послушать, так они вдвоём войну выиграли...

Лида чувствовала, что сейчас Костка не просто придирается: он нашёл-таки возможность отомстить ей за всё. Если бы мог, так стёр бы в порошок. Но так, чтобы она, оскорблённая, уничтоженная, не умерла, а весь остаток своих дней чувствовала его силу, верх над ней. А он, видя это, стал бы утешаться: наконец-то покорил!

Она понимала, что злоба его уже выливается через край, и вот наступил для него долгожданный момент.

А ей что, покориться?.. Нет, и так настрадалась. Не дожждётся! Тут уж нашла коса на камень: Лида не даст себя в обиду.

Николай, не дожидаясь её приглашения, словно хозяин, вновь сам налил себе и выпил. Не закусив, сказал:

— Вот, наконец, и сошлись наши дорожки. Живём по-соседски, а вроде враждуем. Это ты виновата, не хочешь покориться. Несёшь себя высоко, как пани какая. Видали мы таких гордячек. Мне тебя скрутить — раз плюнуть. Зря не хочешь понимать, что ты не просто баба, а дура. Вдова. И ещё не известно, кем был твой муж... Может, он предатель. Искали же, и мне говорили. А ты...

Она молчала. Что ей говорить?.. Какая есть... Только не ему её судить. И Володьку не ему судить... А какой была? Да как все девушки. Когда-то не одному парню голову вскружила. Наверное, и Николаю. Его и в молодости люди не очень жаловали: нечист на руку, брехун, работать не хотел. Но нос по ветру всегда держал. Грамоту имел не большую, как и она, — три зимы начальной школы. Активист, церковь ломал, заведовал избой-читальней. А по ночам с Котом, спяну, что ли, орала на улице: “Смело мы в бой пойдём...”

Однажды, когда его за бесчинство попробовал приструнить набожный старик Фаддей, дескать, мало того, что на тебе креста нет, так ты ещё и святые революционные песни пьяный поганишь, Костка назвал того контриком, религиозным агитатором, пообещал сообщить о “контрреволюционной гниде” куда следует.

И, наверное, сообщил. Вскоре тёмной ночью Фадея выловили в колхозной конопле. Там он прятался, помня Николаеву угрозу. И повезли старика в район. И сейчас никто не знает, что с человеком стало.

Люди притихли. Стали сторониться Костки. Он же не раз намекал мужикам, что может любого как следует приструнить.

Доносил Николай на односельчан или нет, никто не знает, а вот что ещё нескольких мужчин тогда забрали, да самых работающих, и те тоже, как Фаддей, где-то сгинули, — было. Было и то, что однажды Николай пригрозил её Володьке: если не уступишь Лиду, сошлю туда, куда Макар телят не гонял.

Может быть, так и случилось бы, но Володьку, сына бедняка, тоже комсомольца, колхоз направил на курсы трактористов в город. Николай тогда пытался подлабуниться к Лиде, но получил от ворот поворот. Володька же, вернувшись в деревню трактористом, надолго не задержался. Его призвали в армию, там направили на какие-то командирские курсы. Вскоре он приехал из Бобруйска на побывку, и они с Лидой стали мужем и женой...

Потом Володька поехал обратно, а она осталась в деревне. Сыночка родила. В войну жила, как и всегда, тихо. Никого не трогала. Пряталась от немцев и полицаев, боялась: муж — красный командир. Знала: могут не пожалеть ни её, ни ребенка.

Жила одна. Отца она не помнила: он умер, когда совсем маленькой была, а мать умерла перед войной...

В начале войны Костка и Кот Лиду не трогали, обходили её хату. А когда ушли в лес и начали ночами захаживать к односельчанам, чтобы раздобыть еду или одежду, Лида поняла: и к ней придут. И она даст им то, что у неё есть: им же воевать надо.

У неё уцелела корова — не забрали ни немцы, ни полицаи. Была свинья, куры, гуси, словом, хозяйство имелось...

Корова её кормила. Конечно, не столько её, сколько ребёнка. Особенно лютой зимой сорок третьего года. До весны дожили. Но однажды в марте ночью притащились к ней Костка и Кот. Не попросились, как настоящие пар-

тизаны, чтобы пустила в хату, а начали колотить в дверь (тогда её селище здесь, на отшибе, одно было, это уже после войны люди рядом построились). Наверное, Костка с Котом знали, что нет в деревне ни полицаяв, ни немцев.

Конечно, испугалась: немцы? Набросила на себя фуфайку, натянула юбку да, не зажигая лампы, пошла открывать.

Вломились в сени, чуть не сбили с ног. Лида не успела опомниться, как Николай сразу же схватил её за горло, сжал:

— Ключи давай от сарая, сука! И молчи!

А от самого самогоном несёт.

— Николай, ты что, ополоумел? — прохрипела она, вырываясь из его рук. — Ребёнка перепугаешь. Спит.

Отпустил. Но сразу же ткнул в лицо пистолетом:

— Я что, шучу с тобой? Ну! А то стрельну — и рука не дрогнет.

— Давай, давай, давай, — торопил Лиду Кот. — Не шутим. А то — шпок, и побежал красный петушок по хате.

Поняла, что не с добром пришли. Им не покорись — всё, что захотят, сделают: и убьют, и сожгут... И дитя не пожалеют. Но всё же попробовала просить, чтобы не делали зла:

— Хлопцы, зачем вы так? Я же одна, нет мне ни от кого помощи. Не отбирайте корову, чем я дитя кормить буду? Берите всё, что хотите, но...

— Не вой, курва! — Кот ткнул в бок винтовкой. — Не дашь ключ, выбьем пробой сами, но тогда уж тебя живой не выпустим.

— Не подохнет твой улюдок, — Николай крутил пистолетом перед её лицом.

— Ну, что ж, подожгите, — воспротивилась она. И пригрозила: — Вот вернётся Володька — он вам не простит.

— Матвей, она, оказывается, ещё и пугает нас, — словно удивился Николай. — Не из пугливых. А Володьки твоего боимся, как прошлогоднего снега. Может быть, его уже кости истлели, а ты — Володька! А если не истлели, так он там, на фронте, кашу с маслом жрёт и в тепле спит. А мы здесь должны с голоду подышать да в снегу замерзать? Давай ключ, говорю тебе!.. Думаешь, побоимся ломать, шум поднимать? Не побоимся, вряд ли кто услышит. Ну!..

И взвёл курок...

— Берите, в печурке, — молвила она.

Ночь была морозная, ясная. Луна через верх окна, там, где не было льда на стекле, лила в хату зеленоватый свет. Когда глаза привыкли к темноте, хорошо всё было видно: и чёрные, нечеловеческие лица, и пистолет в руке Николая, и винтовку у Кота. Матвей подошёл к печи, сунул руку в печурочку, достал оттуда ключ от сарая и сразу же пошёл в сени. Костка же остался в хате, брызнул в лицо слюной:

— Ляжешь — оставлю корову. Не всё же Володьке твоему тебя лапать, может, что-то и мне осталось.

— Убей — не будет по-твоему! — рванулась она. — Что ты вздумал?..

Костка бросил её на пол, а когда она вновь попробовала вырваться, заржал:

— Она ещё выкручивается...

В то же мгновение Лида почувствовала тупой удар по голове, потеряла сознание...

Очнулась она неизвестно через сколько времени, но ещё ночью. В хате по-прежнему было темно, и всё так же лился в окно зеленоватый лунный свет.

Ей было холодно. В голове шумело. Во рту было горько и сухо.

Она попробовала оттолкнуться руками от пола, встать, но не смогла. Тогда, собравшись с силами, подползла к кровати возле печки, где должен был спать сынок. Тяжёлыми, словно налитыми свинцом, руками оцупала постель — на месте сынок, к стенке закатился, сопит.

Молча обливаясь слезами, кое-как поднялась, прислонившись спиной к печи. Тепла не чувствовала, хотя с вечера хорошо протопила. Обессилев, опустила руки.

Только сейчас при лунном свете, наклонив голову, увидела, что юбка разорвана почти до пояса, живот оголен, фуфайки на ней нет, нательная рубаха на груди разорвана.

Упала на пол. Беззвучно заплакала: обесчестил, чуть не прибил, чтобы добиться своего.

Что же это будет?.. Куда броситься?.. Кому пожаловаться?.. Что она скажет Володьке, когда тот придёт?.. Что делать?.. Руки на себя наложить, чтобы не жить с таким позором, чтобы ничего не знать и не помнить?.. А сыночек, её и Володькина кровинушка?.. Сгинет он один. А если и не сгинет, если кто из сельчан возьмёт его, так настрадается среди чужих людей, словно птенец, выпавший из гнезда...

Плакала, волосы на себе рвала и не чувствовала боли. Руки кусала — никто не утешит, никто не посочувствует, не посоветует, как быть, — у каждого своего горя хватает, у каждого своя жизнь... А если и сказать кому — ещё не известно, что будет. Люди вряд ли ей посочувствуют, а наоборот, наверно, станут показывать вслед пальцами, как на прокаженную. Кто поверит, что силой взял? Скажут: “Под Николая сама легла, ходил же за ней перед войной, вроде даже ладили, пока Володька не увёл...”

Отомстил, изверг, за то, что когда-то отвергла его. Прежде всего, её отомстил, потом уж Володьку. Володьку, знала, люто он ненавидел. Разрушил их гнездо, душу испепелил... И как ещё после всего содеянного не убил её и сыночка, не поджжёт хату, одному Богу известно...

Но сколько ни бейся об пол, сколько не рви на себе волосы, руки лмай, плачь — сама в землю не ляжешь. Земля перед тобой не развернется, и ты ничего с собой не имеешь права сделать, ибо рядом, на кровати у стены, спит твоя и Володькина кровинушка. Из-за неё нужно всё вытерпеть: и людские оскорбления, а они будут, и то, что, может, бросит её Володька, как придёт, — она не посмеет ничего от него утаить: поверит ли, что взял её Николай, когда была без сознания?..

Утром, кое-как придя в себя, вышла во двор и увидела, что ворота в сарай открыты...

После той ночи она несколько дней не показывалась на люди. У неё было такое чувство, словно вся деревня знает о том, что с ней случилось, что все только и судачат: легла под Николая, чтобы не забрал корову, а он и корову взял, и её...

Как им объяснить, что нет её вины? В ответ услышишь: “Не хотела бы, так ничего не было бы...”

В страхе ждала: не понесла ли?.. Счернула не столько от голода, как от горя. Но всё обошлось...

После того как поняла это, вроде стало легче, словно блеснуло солнце, скользнул луч по льдине, но только на мгновение, и вновь спрятался... Что она скажет Володьке, как придёт...

Иногда сомневалась: может, между нею и Николаем ничего не случилось? Может, нарочно он всё на ней порвал, оглушил, чтобы разное думала, страдала? Знал же, что она его ненавидит. Да и говорили, что в лесу нашёл он себе женщину, с которой якобы живёт, как муж с женой. Разве можно, если это правда, другую женщину трогать?..

Ждала, ждала Володьку, но так и не дождалась. Даже после войны весточку о себе не подал. Одно ей известно: окончил войну капитаном, и его почему-то искали люди из органов здесь, в Заливье, дома. А Кот с Косткой поговаривали, что искали его потому, что совершил он нечто плохое. Одним словом, как они рассуждали, преступник её Володька. Только не верит она в это, да и сельчане не верили: не такой он человек, это не Николай и не Матвей. Здесь что-то не вяжется. Ещё бы: человек, раз его ищут, прошёл всю войну. Из младшего командира дорос до капитана. Домой шёл, и вдруг...

Нет, что-то здесь не то... А Иван Каминский, Мишкин отец, тоже фронтовик, как-то сказал ей по секрету:

— Смотри, Лида, не выдавай меня, я тебе вот что скажу... Тайна какая-то с твоим Владимиром. Какая — не пойму. Но — тайна. Ищут после войны дома красного командира, значит, шёл домой. Но почему не дошёл?

Что, пристал к чужой женщине? Нет, не искали б. Стал бы там на учёт в военкомате, да и жил бы, как хотел. Но если даже так, не может быть, чтобы не захотел узнать, что с тобой и как. Через людей, если не сам, отозвался бы... Но смотри, если вдруг Владимир явится, пусть даже ночью, чтобы никто не видел, — обо всём ему расскажи. Он сам решит, что делать... Только остерегайся Николая и Кота. А вдруг его оговорили, и он вынужден от людей прятаться? И такое бывает. Но, скажу тебе, много и сейчас непонятного. Случается, как и прежде, по наговору берут невинных людей. И у нас на фронте такое случалось, когда кто-то кого-то оговаривал: приедут, заберут — и поминай, как звали.

— Как же, Иван, можно человека оговорить? — не понимала она. — Это же грех какой.

— Так и оговаривают... Вспомни Фаддея... Костку пристыдил за то, что церкви рушил. Ну, и получил в ответ: “классовый элемент, контрреволюционная гнида...”

Хотелось ей тогда, во время разговора с Иваном Каминским, о горе своём рассказать ему да о сыночке. Но удержалась: зачем это ему, чужому человеку?..

Сыночек, Игнатка, умер после войны. Может, от голода. Как корову увели Костка и Кот, начал чахнуть: постным кормила. Чах, чах и умер...

— Да, я сейчас, если захочу, тебя повяжу, — слышит она откуда-то издалека. — Вот застал тебя на месте преступления, и ты в моих руках. Захочу — составлю протокол, захочу — помилую...

Тогда в лесу, слушая такое, она молчала. Ей вообще не хотелось ни о чём говорить с Николаем. Только подумала: не нужны мне эти дрова, если уж так, если он издевается надо мной. Да, очень противен и страшен он как человек. Бессовестный совсем. Вор. Живёт на всём казённом, лес продаёт. Вероятно, сколько в лесу пней, столько и бутылок имел. А ты попробуй ткнуть сюда, чтобы насобирать хвороста, так он тебя воровкой сделает...

— Что ты на меня волчицей зыришь? — вновь разозлился Николай.

— Да не трогаю я тебя, чтоб тебя рубашка не трогала, — сказала она.

— Вот как?! — ухмыльнулся он. — Даёшь... А была бы умнее, лаской меня взяла бы. Может быть, тогда и я по-иному б к тебе. Может, тогда ни с сеном, ни с дровами беды не знала бы.

— Не нужно мне ни твоей ласки, ни твоего сена и дров. И моей ласки ты не дождешься. У тебя своя жизнь, у меня — своя. И в молодости так было, и сейчас... В одном не сомневаюсь: без Бога в душе живешь.

— Это ты зря, — сказал он. — У меня свой Бог. И я над тобой хожу, а не ты надо мной. Знаешь же: сейчас вот что захочу, то с тобой и сделаю, а всё не можешь смолчать, что ни слово — мне в пику.

Он ближе наклонился к ней.

— Отстань! — сказала она. — Я тебе не молодуха, не любовница, что ты ко мне лезешь?

— Молодуха не молодуха, но и переспелая ягодка бывает очень сладкая, — недобро засмеялся он. — Да и старый конь борозды не портит. А ты, помнится, и молодою сладкая была. Я-то хорошо помню, испробовал...

И вот оно, подтверждение: взял он её той страшной мартовской ночью сорок третьего года, взял!.. А она иной раз думала, что — нет... Изверг...

— Убери руки, не позорься, ну! — закричала она, когда Николай вдруг положил ей руки на плечи. — А то...

Она тогда и сама не знала, что означает это “а то”... Не договорила. Костка навалился на неё, в лицо пахнуло, как из сарая. Рванул на груди кофту. Прижал к земле. Засопел над ней. Лида поняла: не вырваться. Закричала что было силы. Он зажал ей рот.

Она инстинктивно нащупала рукой на земле что-то холодное и круглое... Не помнила, как опустила это ему на голову...

Потом, поднявшись, обхватила голову, провела руками по лицу и, увидев на них кровь, содрогнулась.

Николай лежал лицом вниз. Ветер трепал его окровавленные на затылке волосы...

Лида бросилась прочь. Опомнилась уже в деревне, возле сельсовета, когда на крыльцо вышел участковый.

VIII

Кот, убедившись, что вокруг не видно ни одной живой души, решил навести порядок возле сельсовета и в здании. Он понимал, что следователи, как только придут из района, сразу же начнут всё осматривать, и нельзя допустить, чтобы они поняли, что здесь пьют, как хотят.

Кот зашёл в дом, в свою боковушку, где обычно пили. Воздух там был тяжёлый, затхлый. Открыл окошечко в вишняк — потянуло свежестью. Он опасался, что следователи могут заглянуть и к нему.

Неважно, что Кот в сельсовете никакой не начальник. Как бы там ни было, а он всегда при руководстве, всегда знает, где Реут, когда будет, а когда — нет.

Вообще-то Кот неплохо играл свою роль личности, приближенной к председателю сельсовета. Он гордился тем, что некоторые сельчане заходили к нему просить совета по какому-нибудь своему делу, пусть даже неважному. Тогда Кот внимательно выслушивал человека, время от времени произнося многозначительное: “Да...”, — и на этом всё заканчивалось. Главное — сочувствие. Иногда он даже мог сказать, стоит ли обращаться к Реуту, или лучше ехать в район, таинственно сообщая: “Их компетенция”. Что значит это слово, сельчане представляли смутно или вообще не понимали, но Кота слушали: в районе быстрее добьёшься правды, чем здесь...

В боковушке он старательно убрал всё со стола, выбросил в мусорное ведро, протёр тряпкой клеёнку. Чтобы скорее выветрилось, достал из тумбочки одеколон, брызнул несколько капель на настольную лампу, щёлкнул выключателем — в комнатухе приятно запахло.

Мусорное ведро, пустые бутылки и стаканы он занёс под поветь, заложил дровами.

Кот понимал, что дальше ему оставаться здесь незачем: вдруг кто-нибудь из сельчан придёт сюда, заведёт разговор. Лида услышит голоса, застучит в дверь — и тогда всё раскроется.

В деле, порученном ему участковым, нужно ухо держать востро. И вообще, лучше от случившегося держаться подальше. Надо же было так некстати здесь оказаться... Не всё ли равно, что его считают лучшим Николаевым другом? Это его, Кота, личное дело. Да, вчера он, может быть, и был другом, а сегодня — нет, увольте! А вообще-то Кот — человек маленький. Всего-навсего какой-то сторож... Наверное, Мишка перегнул, приказав Коту посадить убийцу в склеп. Где та инструкция, которая предписывает сторожу служить участковому?..

А вдруг арестантка, пока Каминский с Реутом будут ездить по лесу да искать труп, умрёт? Может же такое случиться, что у неё не выдержит сердце, разорвётся от страха? Или того горше — руки на себя наложит?.. Тогда его, Кота, будут допрашивать: не “помог” ли он ей умереть?..

Кот закрыл на замок сельсовет, снял сапоги, взял их под мышки, осторожно подошёл к склепу.

Прислушался, приставив ухо к двери, — тихо. Стало жутко: хотя бы застонала или вздохнула... Может быть, она и в самом деле...

— Лида, Лида, — тихо позвал он только для того, чтобы убедиться, что с ней ничего не случилось.

— Это ты, Кот? — послышалось оттуда. — Что тебе нужно?

Услышав её голос, обрадовался: жива. Почему-то захотелось подбодрить её, показать, что он ей не враг, — пусть только продержится, пока придут мужчины.

— Да ничего. Жаль мне тебя. Ты только на меня не сердчай. Сама же слышала, что не по своей воле я тебя сюда посадил: приказали. Мне нельзя было ослушаться: должность у меня такая... Смотри уж, не подведи меня.

— Как же я тебя подведу? — удивилась она. — Ты, Кот, ничего не бойся. Если надумал меня выпустить, то не надо. Я отсюда никуда не пойду, пока милиция меня не арестует: моё мне и будет.

Вот дура! Он не сумасшедший, чтобы убийцу вот так, за здорово живёшь выпустить! Да его самого тогда в тюрьме сгноят, как её пособника!

— Ну, так я пойду, а ты уж держись, коли так, — обрадовался он.

Лидия не ответила.

Кот отошёл от склепа. Натянул на ноги сапоги. Немного успокоившись, побрёл в вишняк — лучшего укрытия ему и не нужно. Оттуда, с пригорка, всё вокруг видно, как на ладони. И склеп рядом... Притаившись в вишняке, ожидая возвращения участкового и Реута, подумал: “Интересно, понял ли Николай, что его ухайдакала Лида? Да, да, та Лида, которой до войны уж очень он домогался, но у него ничего из этого не вышло. Та, которую в войну оглушил, а потом...”

Вот если бы случилось так, чтобы Николай сейчас знал, что она ему не покорилась, — почернел бы от злости... Впрочем, как хорошо, что Николая уже нет!.. Унёс он с собой их с Костком страшную тайну, которую они с войны скрывали. А вдвоём скрывать тяжело, так и бойся, чтобы кто-нибудь невзначай не проговорился. Нет Николая, и сейчас уже только один Кот знает об их дезертирстве из армии во время войны, а также о том, как обошлись они с Лидой одной мартовской ночью и что после войны сделали с её Володькой...

Вначале войны мобилизованные Кот и Костка попали во взвод, которым командовал Лидин Володька. Он был резервист, младший командир.

Конечно, Николаю это было — как рашпилем по сердцу. Мало того, что Лида Володькиной женой стала, так он ещё должен ему подчиняться да козырять! Но армия есть армия, никто у тебя не спрашивает, нравится тебе командир или нет. Ты — рядовой, поэтому слушайся, приказы выполняй. Здесь ты свой норв не очень покажешь — сразу же место укажут. Хотя где и когда было показывать, если в первые же дни войны попали в окружение, в такой ад, что свет им сделался не мил?

Везде стреляют, не поймёшь, где наши, а где немцы. Немецкие самолёты небо кроют, а появятся вдруг какой-нибудь наш, так те его обстреляют — горит, словно бумажный. Здесь одно на уме: спасайся, как можешь.

Бежали под Бобруйском по лесу взад-вперёд, от своих отбились. Осмотрелись — стреляют уже где-то далеко, на востоке, а на западе — тихо.

На западе — дом. Кажется, там никакой войны и нет. Кажется, пришли сюда немцы, постреляли, поугали и дальше покатили.

Но Володьке не нравилась эта тишина. Велел он Коту, Костке и ещё одному бойцу, приставшему к ним, идти под его, Володькиным, командованием к линии фронта: “Приказываю выходить из окружения...”

Дурак! Какая сейчас может быть линия фронта? И где тот фронт? Куда ни глянешь из леса — везде немцы. Едут на машинах, на мотоциклах, танки грохочут...

Выходить из окружения — значит, по своей воле идти на верную смерть. Может быть, и пошёл бы, если бы знал, что попадёшь в плен, что там подержат-подержат, да и отпустят домой: дескать, иди, землю паши, новой власти тоже есть нужно. Но уже возле Рогачёва, куда добрались через несколько суток, из леса, спрятавшись в кустах, видели, как немцы гнали по шоссе колонну пленных. Животных так не гонят... Мало того, что толкают прикладами в спины измученных, обессиленных людей, так ещё, если кто вдруг упадёт, тут же пристреливают.

Что от самого себя скрывать? Очень страшно тогда было Коту. Чуть ли не под каждый куст садился, так схватило живот. Николай же будто помещался: всё смеялся, глаза вылушив.

А Володька всё подгонял их: “Вперёд!” Николая по щекам бил: “Очнись!” Тот, “очнувшись”, сначала смеялся, а потом скулил.

Кот уже не помнит, через сколько дней вновь выбрались из леса к шоссе где-то возле Днепра, а там вновь немцы. Заметили: “Хальт!” Они обратно в лес. Немцы вслед полоснули из автоматов, благо никого не задело.

Бежали куда глаза глядят. Бежали неизвестно сколько. Остановились возле какого-то болота. А Кот винтовку потерял и не заметил, где и как.

Володька вокруг прыгает: “Где оружие?.. Тебя по закону военного времени нужно отдать под трибунал!..”

Это Кот и без него знал. Начал хитрить: “Свою кровью свой позор. В бою добуду оружие”. — “Вот и смой!..”

Смой?.. Нашёл дурака — под пули с голыми руками лезть. Мало ли что сказал... А коли так, надо ловить момент — да ноги в руки, и бежать, пока голова на плечах.

И Николай, когда успокоился, шепнул Коту: “Бежим, какой фронт? Пропадём зазря с Володькой”.

Кот всё понял: бежать будут вдвоём. Так легче. В дороге может разное случиться...

Ночью, когда Володька и незнакомый боец уснули под кустами, Кот и Костка притихли под еловым выворотнем. Николай шепнул:

— Время...

— А если догонят? — размышлял Кот. — Ведь пристрелят без суда и следствия.

— А мы сейчас их сами. У ночи глаз нет, и концы в воду.

— Сохрани Господь! — Кот от неожиданности чуть не закричал. — Я этого не смогу.

Видимо, Николай уже тогда мог убить человека, чтобы спасти свою шкуру. Наверное, если бы Кот не воспротивился, так бы и сделал — лишил жизни и Володьку, и незнакомого. Но ведь Кот не согласился!..

Осторожно отползли подальше, потом поднялись и бросились прочь. Бежали на север, туда, где должна была быть Друть. Рассчитывали, что достигнут реки, а там берегом против течения направятся к Заливью — река сама приведёт к дому.

На рассвете вышли к реке. Вот она, их спасительница, спокойно катит свои воды среди кустов в пологих берегах. Прислушались, внимательно осмотрели всё вокруг — ни души. Лёгкий пар в утренней серости еле колыхается над густым чёрным течением. На разные голоса поют птицы, словно нет никакой войны. Чувство такое: бери удочку, становись где-нибудь в заводи да рыбачь...

День просидели в кустах, ожидая ночи. Куда пойдёшь днём, если кажется, что за каждым кустом тебя подстерегает немец с автоматом?

Шли ночами берегом против течения реки. Ночи были ясные. Звезды отражались в воде, и казалось, их отражение всё освещает вокруг — видно было далеко. Да и слышно было далеко: плеснёт где-нибудь в затоке рыба — эхо долго катится.

Кое-как добрались до Заливья. Голодные, ободранные, выбившиеся из сил. Николаеву винтовку и гранату спрятали в лесу. Радовались, потешались, над Володькой насмехались: иди, иди, герой!.. Ещё неизвестно, куда дойдёшь. Может быть, уже где-нибудь в колонне пленных ноги в кровь сбил, если, конечно, уцелел... А мы дома!..

Домой пришли ночью. Здесь всё своё, знакомое. Дома и стены помогают. Жили они тихо, не высовываясь. Отрастили бороды — старики, да и только. Сеяли, косили. Убирали урожай. Самогон гнали. А когда местный полицай Семён приказывал, делали для полицаяв то телеги, то сани, хомуты шили.

В конце сорок второго — в начале сорок третьего от села к селу пошли вести, что наши гонят немца. И партизаны им хорошо помогают. Они то там фашистский гарнизон расколошматят, то здесь фрицев хорошо погоняют... Люди поговаривали, что где-то под Осиповичами и под Бобруйском взрывают железку, поезда под откос пускают. Говорили также, что в партизанах в основном окруженцы из регулярных частей, хотя и немало парней и мужчин из соседних деревень. Это тревожило и Кота, и Костку: а вдруг кто из знакомых там, и про них, вернувшихся с фронта в начале войны, партизанскому начальству подскажет, дескать, проверить бы надобно, почему это Кот и Костка дома отсиживаются, а не на фронте или не с нами. Наверное, всё же шепнул кто-то: однажды ночью одновременно постучались и к Коту, и к Костке. Попробуй не открой. Партизаны так те уйдут. А если Семён, как не раз бывало, с пьяными друзьями и немцами? Да хату разнесут, красного петуха пустить могут, пришлѣпнуть.

Отворил Кот, отворил и Костка. А те сразу: “Кто такой? Почему дома, а не на войне?”

У Кота сразу же брюки мокрыми стали, но нашёлся:

— Окруженец. Пока временно нахожусь дома, но жду момента, не вызывая подозрения у врага, связаться с народными мстителями.

— Оружие есть?

— Так точно, есть...

На всякий случай оружие у Кота было. За самогон выкупил у Семёна пистолет. Думал Кот, что этой же ночью партизаны его с собой уведут, то ли порешить, как дезертира, то ли ещё с какой целью. А как не думать о худшем, если они ему: “Мы о тебе и Костке всё знаем. И что служили, и что с полицаем водитесь... Смотри... Пока сиди дома, слушай, что Семён поговаривает, да на ус мотай...”

Ушли, ничего не взяв, хотя и Кот, и Костка готовы были всё отдать, чтобы откупиться. Стали на некоторое время Кот и Костка вроде за связанных, что ли. Но ненадолго. Раз навестили их партизаны, два, три, а потом забрали в лес. А Семён, наверное, что-то предчувствовал, перед их уходом бил себя в грудь: “Хлопцы, если что, так вы перед властью засвидетельствуете: Баранкевич зла людям не делал, и чужой крови на нем нет... Гонят наши немца, гонят...”

Здесь уже и дурак поймёт, что надо партизан держаться. Николай рассуждал так: вдруг Володька живой, вернётся после войны да сообщит о них куда следует. Тогда их с Котом не пощадят — дезертиры!

В партизанах им вновь повезло. Потому, может, что местные, направили их в хоззвод. Как говорил Николай, лучшего и ожидать нельзя было. Всё-таки подальше от пуль. Погибнуть сейчас, когда наши немца гонят, каждый дурак сможет, секрет в том, как выжить. И всё бы хорошо было, пока однажды не забрали у Лидии корову. Опять же, Николай тогда обиду ей нанес великую, а не Кот. Хотя Кот был рядом, был... Но она о том пока молчала. Что сейчас скажет?

Хорошо... Пойдём дальше.

Пришли наши. Немало партизан, бывших окруженцев, ушли с войсками воевать дальше. “Кто местные?” Известно, Кот и Костка. Им приказ: “Домой, восстанавливать разрушенное хозяйство!”

Николай сразу как-то пристроился в лесники, втихаря от Кота. Сходил в район, неизвестно с кем там поговорил, смотришь — хозяин леса. Правда, тогда и Кота не обидели, назначили в Заливье бригадиром. Бабами несколько лет командовал, колотил утром кнутищем по оконным рамам уцелевших хат — Заливье почему-то немцы не сожгли, как большинство окрестных деревень, — гнал на работу. Вдов в селе большинство было, а вдова, как повелось, бесправней всех бесправных. Днём по полям рыскал верхом на трофейном жеребце, оставленном колхозу одной войсковой частью, высматривал, кто плохо работает или кто что домой тянет. Случалось, надо было кого наказать, но не наказывал, страшал: “Смотри мне, ещё раз и...” Что следовало за “и”, не говорил, но провинившаяся понимала: её судьба — в его руках. Постепенно меж собой люди заговорили: повезло им с бригадиром — никого до тюрьмы не довёл, не то что в других селах — там было. Дескать, неплохой человек Кот, с ним жить можно.

Казалось, всё шито-крыто, как и не было дезертирства. Володьки не слышно, никто их прошлым не интересуется. Иной раз вызывают в район на какое-нибудь совещание. Николай даже в партию засобирался вступить. А Кот — нет, хотя ему тоже предлагали. Отказывался убедительно, мол, пока ещё, чувствую, не совсем подготовлен, грамотёнки маловато, да и успехи в бригаде не ахти какие, позже, позже. А за доверие благодарю...

Однажды, ближе к осени, уже в сорок шестом, Николай прилетает из Бобруйска на своём мотоцикле, оставшемся от немцев. Лицо белое, трясётся, словно в лихорадке, потянул Кота из хаты подальше в огород: “Разговор есть”. Кот думал: вышить хочет. А тот, словно обухом по голове:

— Всё, Матвейка, кажется, окончилась наша с тобой вольница, труба нам...

— Ты что? — присел, как пришибленный, Кот. — Проворовались?

— Дурак! Как сейчас можно провороваться, если всё кругом разрушено? Володьку в городе встретил. Что делать будем?

— Как — встретил?

— На базаре видел его. Жив-здоров, с капитанскими погонами. Грудь в орденах. Ходил по рядам, наверное, подарки выбирал.

— А он тебя видел?

— Нет. Я его издали случайно заметил, убедился, что он, и ходу.

Здесь уже Кот застонал. Что делать? Придёт — обязательно донесёт в органы, тогда в самом деле труба.

— Труба, труба, — соглашался Николай. — Хорошо, если по двадцатьпятике дадут, а то гляди — к стенке поставят за дезертирство. Присягу же давали...

Кот задумался, а Николай сразу:

— Уберём?

Нет, только не это! За войну чужой кровью себя не запятнал, сейчас тем более не нужно это Коту.

— Идиот! Если где в Сибири не подохнешь, если не прихлопнут, то всё равно жизни не будет.

И в самом деле, если подумать, выхода нет.

Кот уже не стонал, скулил: надо же... Только где и как... если убирать?

Оказывается, Николай уже всё обдумал. Машины сюда не ходят? Не ходят. Подводы — тоже. Значит, будет Володька добираться в Заливье попуткой, по шоссе на Могилёв. Не пойдёт же он пешком шестьдесят километров! Попутки чаще идут вечером, если сядет на которую, сойдёт у Долбецкого поворота. От него до Заливья через лес восемь верст, этой дорогой обычно до войны ходили сельчане, когда нужно было ехать в город.

Следовательно, нужно ждать его где-то в лесу вечером. Но чтобы ни одна живая душа не видела...

К лесу подались сразу же, огородами. Шли берегом реки к мосту. Уже начало вечереть, когда перешли мост. Отошли от него метров триста, остановились на пригорке около поворота дороги, откуда хорошо обозревалась местность впереди. Залегли в кустах калины.

Светила луна. На дороге колко отсвечивало — видимо, кусочки битого стекла. Где-то в чаще кричала ночная птица. Было жутко. Казалось, ещё мгновение — и Кот не выдержит, бросится прочь. Пусть Николай, если уж задумал, сам делает с Володькой, что хочет. А Кот — нет...

Но знал: если уж Николай его с собой привёл, просто так от него не уйдёшь. У Николая всегда при себе пистолет. Только поднимись — прихлопнет, рука не дрогнет. Затащит в валежник да подожжёт, и следа не останется...

Нет! Кот первым не убивал. У Кота и оружия не было. Как отпартизанил, так сразу же сдал. Это у Николая пистолет оставался ещё долго... Даже автомат был, может быть, и сейчас ещё где-то в лесу припрятан. Как-то Николай говорил, что из автомата хорошо кабана и лося валить. Это Кот знает, но если будут допрашивать, не скажет: ещё прицепятся — почему молчал?..

...И сейчас, через столько лет, помнит Кот, как вздрогнул, да так, что сухие веточки под ним затрещали, когда из-за поворота, того, что был впереди, выплыла тень. Словно привидение, приближается, покачиваясь в лунном свете.

А вдруг не Володька, а кто другой?.. Невинная душа. Да и Володька — душа невинная. В чём он провинился перед Котом и Николаем, перед людьми? В том, что пошёл дальше воевать, а они сбежали домой?.. Но другого выхода у Николая и Кота нет, нужно самим выжить: Володька или они, они или Володька...

Наверное, Николай и Кот чем-то выдали тогда себя: человек, не доходя несколько шагов, остановился, послышался голос:

— Эй, кто там в кустах?

Он, Володька. Его голос. Сколько времени прошло, как расстались, а голос узнали.

Кот ещё не успел опомниться, как Николай поднялся:

— Володька! Свои... Какая встреча!

И, не дав тому опомниться, что-то сказать, выстрелил.

Потом было самое страшное. Мёртвого Володьку оттянули с дороги в кусты. Кот наломал веток, замёл следы. Володьку потащили к болоту. Кот думал, что на этом всё окончится. Но нет! Николай вдруг приставил к его шее пистолет, дал в руку финку:

— А сейчас ткни его в бок. Нечего чужими руками жар загребать, свои ручки тоже кровью обагри.

— Мёртвый же он, — скулил Кот. — Ты же его порешил, зачем?

— Давай, давай, делай, что говорят. А то и тебя прикончу. Ну!.. Пусть одно на нас лежит, чтобы язык за зубами держал.

Всадил Кот в Володьку финку, иначе Николай убил бы и его. К телу привязали два камня — оказалось, что их ещё днём притащил сюда Николай, — и бросили в болото. Подождали, пока тело при лунном свете исчезло в топи, да и пошли в деревню, словно ничего не случилось...

Нет, не хотел Кот этого. Николай, пусть ему будет колом земля, его принудил грех на душу взять. А после Кот уже от Николая ни на шаг, будто они на самом деле были связаны одной верёвкой.

Позже, дней через десять, Володьку из района, из органов искали. Приезжали, спрашивали у людей, не появился ли в деревне капитан Печень. Все пожимали плечами: не видели, не слышали, не было. Сельчанам те люди ничего не объясняли, а когда поехали, Николай пустил слух, будто стало известно, что Володька дезертировал из армии, потому и ищут. Николая тоже о Володьке спрашивали. О чём он говорил с людьми из органов, Коту не сказал: мол, не велено. Но Кота не тронули. Сельчанам Николай приказал: вдруг кто что о Володьке услышит — сразу же его, Костку, должен поставить в известность, а иначе... Что “иначе” — не объяснял, но всем было понятно и так: несдобровать...

Всё тихо да ладно было по сей день. А теперь — тем более. Кто это сам себя выдаст?

IX

В склепе, куда Лиду закрыл Кот, было темно и сыро. Вскоре Лида освоилась, немного успокоилась, состояние у неё было такое, словно она возвращалась в реальность из страшного сна.

Когда на ощупь спускалась вниз по крутым, узким ступенькам, ноги подкашивались, будто ватные. Но уже внизу, когда глаза немного привыкли к темноте, натолкнувшись на какой-то перевёрнутый ящик и сев на него, Лида подумала, что ей не на кого надеяться, никто ей не посочувствует, не поможет в горе.

Лида поняла: совершила она не просто что-то плохое, о чём через некоторое время и сама не вспомнит, тем более — люди, а непоправимое: убила человека. Да, она Костку презирала, считала негодяем, но никогда не желала ему зла, тем более смерти.

Вообще Лида никогда не держала на людей зла. Даже когда её ни за что обижали, оскорбляли, насмехались над ней, вдовой, — рядом живут разные люди, не каждый добро в себе носит. Иной так и норовит унижить, уж если одна, значит — никто. Нередко в жизни бывает: живёт человек — не за что упрекнуть, в ладу с Богом, с добром в душе, но не так, как другие, — этим и не нравится... Она всё сносила терпеливо, ко всему привыкла, всё принимала, как посланное судьбой, то, от чего не уйдёшь. Иногда казалось, что и жизнь её не была жизнью, а так... существованием.

Тот же Николай всю жизнь её обижал. И в молодые годы, и в войну, да и сегодня хотел обидеть. Она воспротивилась — и случилось страшное.

Кот тоже обижал её. После освобождения, будучи бригадиром, заставлял выходить на работу даже тогда, когда болела и не могла ничего делать. Он ей последней в деревне давал коня засеять огород, не раз страшал, что обрежет сотки, если пробовала ему перечить.

Обижали Лиду и соседские женщины, когда вдруг её куры заходили в их огороды. Начinalи оскорблять на всю деревню, кем только не обзывали, и даже, — правда, не при Николае, — Косткиной подетилкой или немецкой шкурой (за что?). А как их, соседок, куры разгребали её грядки, этого женщины не видели и видеть не хотели.

После войны её очень обидели чужие люди из района, приехавшие искать Володьку. Ворвались в хату, даже не постучались, не поздоровались, сразу же начали по углам шарить, светить фонариком под печью, под полом, поднимать в сарае сено на вилы, даже навоз ковырять.

Когда осмелилась спросить, что им нужно, сказали одно:

— Где мужа прячешь?

Поняла, что с её Володькой какая-то беда стряслась, заплакала, выдавив из себя:

— Не приходил домой. Не может он ничего плохого сделать.

— Нет писем. Не писал...

Ушли. Наверное, поняли, что не приходил её Володька.

Что там, на войне, с ним случилось, Лида не знает. Не знает, дожил ли он до Победы, — ведь люди после освобождения получали письма от оставшихся в живых мужей, братьев, отцов. Лида — нет. (Не знала она, что писал ей Володька. Почту в районе забирал Костка. Из писем Николай знал, когда Володька придет, после сжигал их в лесу, а пепел развеивал. Даже Коту о тех письмах не говорил.)

Думала, может, кто её Володьку оговорил. А может, попал он в плен да сбежал, но к своим не пробился, или ещё что с ним случилось. Только не мог он совершить никакого злодеяния, не такой он, не такой... Но поняла одно: если ищут, значит, жив, только где, почему не подаёт весточки? Может, попал в какую-нибудь западню, из которой не может вырваться, иначе прилетел бы как на крыльях к ней, любил же её и сыночка.

Легко сказать — прилетел бы... А что ожидало его в своём гнезде? Жена, над которой Николай поиздевался, да сыночка могильный бугорок с маленьким крестом. А если бы не поверил, что она ни в чём перед ним не виновата?

Не пришёл с войны её Володька. Если и в самом деле что-то есть на этом свете, почему позволило, видя её страдания, так распорядиться и её, и его судьбой.

Может быть, сейчас Володька живёт где-нибудь далеко-далеко. У него есть другая семья, и ему там хорошо. И возможно, иногда вспоминает её и сыночка, не зная, что того давно нет на земле. А может быть, где-то в чужом краю косточки мужа рассыпались, и могилка сровнялась с землёй, — думай, как хочешь, если ничего определённого не знаешь...

Нет, жив Володька, иначе почему его после войны искали дома? И понятно ей, что шёл он домой, но где-то потерялся его след для них, его начальников.

Где и как исчез, когда, кто скажет? Не мог же он сквозь землю провалиться. Земля же ещё ни перед кем сама не раскрывалась: ни перед самым последним грешником, ни перед самым великим праведником.

Она — грешница. И этим всё сказано. Крест её невыносимо тяжёлый. Ей самой нести его неизвестно сколько и куда: в рай или в ад, если они есть.

Здесь себя нельзя жалеть. К тому же, зачем кого-то в чём-то обвинять, ждать от других сочувствия. Мол, пожалейте меня, я же прожила нелёгкую жизнь. И жила, как могла, держалась за этот свет изо всех сил. Сама виновата в том, что сегодня совершила, и нет ей искупления, и никто и ничто не избавит её от содеянного.

Искупление — искуплением, это не от неё зависит, а вот избавление... Оно есть, если хорошо подумать. Зачем ей сейчас одной, без мужа, без ребёнка держаться за своё горе, за свою боль, переносить унижения? Что — всё это и называется её жизнью?... Для чего дальше такая жизнь, если рано или поздно навсегда закроются глаза, если неизбежно когда-то ляжешь в землю, и всё исчезнет, как и не было...

С той поры, как ушёл на войну её Володька, и тем более — как умер их сыночек, у неё не осталось ничего утешительного и дорогого здесь, среди людей. Так что же держит её на земле?.. Может, только одно: грех, павший сегодня на её душу, за который она должна ответить перед людьми... Но есть ещё неизмеримо больший грех: по своей воле уйти из жизни в небытие.

Думая об уходе в небытие по своей воле, она не чувствовала страха. Но убеждение, что это грех, словно обжигало душу. Лида понимала: нельзя, это вообще противоречит человеческой природе.

Размышляя, она мысленно подошла к той грани, за которой начинается никому не известное, о чём никто никогда не рассказывал, хотя бы потому, что, шагнув за эту грань по своей ли, Божьей ли воле, назад не вернулся.

По эту сторону грани есть ты. Ты дышишь, видишь, тебе больно, ты страдаешь и, случается, радуешься... По ту сторону — притягивающая тебя неизвестность. И, наверное, там нет ни слёз, ни боли, ни печали, ни радости. Там, наверное, не то чтобы пустота — ничего...

Второй раз за свою жизнь она приблизилась к этой грани. Оставалось сделать только один шаг, чтобы навсегда избавиться от лежащего на душе невыносимо тяжёлого груза, сжимающего сердце так, что, кажется, дальше уже нет мочи терпеть. Чувствуешь, словно кто-то заывает за ту грань, подталкивает, и тебе уже так хочется туда, хотя и страшно. Осмелюсь, шагни и...

Она ясно представила, как всё будет потом с тем, что зовется её телом. А вот что будет с душой, если она есть, должна же быть, — не могла представить...

Да, заруют её, Лиду, в землю, как падаль. И не на кладбище, не рядом с сыночком, где держала себе место и где никого не хоронили, так как знали: её здесь последнее пристанище, а за оградой, возле лозняка, в низине. Низину ту весной заливают талая вода, в ней квакают лягушки. И никто, когда она будет лежать в тесной, необстружанной, сбитой из горбылей домовине, не поставит у изголовья свечу, не перекрестится, никто не пожалеет её. Повезут её на телеге, наверное, за гробом будут идти только старухи, и вряд ли кто бросит горсть земли на домовину...

И не будет знать её сыночек, где его мамка. Не поймёт, почему она так долго не приходит к нему, не прибирает могилку, не меняет истрёпанный ветрами рушничок на почерневшем кресте, не разговаривает с ним, как разговаривала много лет подряд, печально и нежно. Не рассказывает, как ей живётся среди людей, не спрашивает, как ему там, не тяжело ли под толщей земли, под цветами, — она их высаживает каждую весну...

Не однажды, когда ей было очень плохо, мысленно говорила ему: “Подожди ещё немного, сынок, скоро, наверное, я приду к тебе. Лягу рядом. Положу под твою головку свои руки. Переверну тебя на бочок — наверное, спинку отлежал, вытру твои глазки, уж больно ты плакал, уходя от меня. Обниму тебя, поцелую в горячий лобик, заберу огонь, сжигающий тебя, сделаю всё, чтобы тебе легче стало... И никогда, никогда не оставлю тебя, мой родненький. И будем мы с тобой, когда минет срок, отпущенный на самую долгую человеческую жизнь, нашего папку искать, ведь он любил и тебя, и меня, как, наверное, никто никогда никого не любил...”

Сыночек, сыночек... Квёлая, безвинная перед людьми и безгрешная перед Богом душа...

Сыночек, слышишь ли ты сейчас свою истрадавшуюся мать, видишь ли её слёзы? Не ту молодую, оберегающую тебя от холода и голода, делающую всё возможное и невозможное, чтобы только выздоровел. Сама от голода падала, моля Бога об одном: если что-то на роду моему сыночку написано, забери меня, брось в ад на вечные муки, только пощади мою кровиночку, отведи от неё беду...

Пусть бы лучше её забрал тогда, как-нибудь вырос бы её сынок и среди чужих людей, стал бы человеком и сейчас приходил бы к ней на могилку, как она ходила к нему.

Если в эту минуту, сынок, ты слышишь и видишь меня, свою мать, такой, какой я стала, то открестись от меня...

Думая так, она, как ей показалось, увидела в темноте неизвестно откуда возникший лёгкий лучик света. Он постепенно превратился в еле заметный ореол, в котором смутно угадывался образ её дитяти. Он приближался, и Лида жадно вглядывалась в его еле различимые черты. Она ждала, что вот-вот он ей улыбнётся, как улыбался маленький, здоровенький, — радостно. Но его личико было истрадавшимся, а глаза — не по-детски сухи...

Лида понимала, что всё это происходит в её воображении: никого перед ней нет. Она просто представила себе образ сыночка, как представляла каждый вечер, ложась спать. Представляла с одной надеждой: может быть, приснится, пусть хоть на мгновение войдёт в её сон, и ей тогда станет легче жить дальше. Но как ни звала его в сон, почему-то так ни разу он и не приснился ей, словно отказался от неё за то, что не уберегла...

И вот сейчас он явился ей в воображении. Ей показалось, что всё это происходит в реальности. Она устремилась к нему, а он сразу же исчез, будто растаял во тьме. И в то же мгновение почудилось ей, что множество людских голосов ворвалось в склеп. От неё наперебой начали требовать, чтобы она сказала, почему совершила убийство...

И Лида подумала, что прежде чем сделать роковой шаг к той меже, за которую её кто-то зовёт, к которой всё более настойчиво подталкивает её какая-то неведомая сила, она должна рассказать людям обо всей своей жизни. Но не о той, которую они знали, — обычной жизни обычной деревенской вдовы, а о своей жизни-боли, скрытой от посторонних глаз, в которой много пережито несправедливости, самых разных издевательств. И об одном, особенно страшном, совершённом над ней Николаем лунной мартовской ночью во время войны.

Да, Лида должна рассказать людям, всем, кого знает, и даже тем, кто её обижал, о том, что хотел с ней сегодня сделать Костка.

Нет, не потому, что ей нужна их жалость: утешений и сочувствия она никогда ни от кого не ждала и не ждёт. Она должна всё рассказать людям, чтобы те знали: по совести она жила и уйдёт с болью, не прося сочувствия. Какое может быть к ней сочувствие, если такой грех на душе?.. Если уж чего-то у кого-то и просить, так у земли. Одного просить: развернись, мать-земля, заberi меня туда, где сынок... Но земля, как ни проси, сама перед тобой не развернется. И как бы тяжело тебе ни было, терпи, проживи Богом тебе отпущенное хотя бы для того, чтобы люди, как умрёшь, положили тебя в землю рядом с сыночком...

Истрадавшаяся, Лида утихла возле шершавой стены и, обессилевшая, на мгновение засыпая, вновь увидела перед собой в темноте едва различимый ореол света: сыночково личико. Но, как ей представилось, уже не такое скорбное. Что-то похожее на лёгкую улыбку скользнуло по нему, и необычайно приятным, может быть, самым приятным за всю её вдовью жизнь показалось ей то мгновение, когда сами собой закрылись её глаза...

Х

Реуту было очень жаль Лиду. Страдалица, добрейшая и честнейшая, и надо же — такое...

По-своему жалел Лиду и Мишка, но не настолько, чтобы её горе затмило его личную беду: вышвырнут из участковых...

О Реуте люди плохо не говорили, уважали его, как и раньше, когда учительствовал, но никакой особенной помощи от него не ждали. Тем не менее, всегда охотно шли в сельсовет, как говорил Кот, на приём. И молодые колхозники, и пожилые сельчане, и старики. У людей всегда одни просьбы: шифер, когда крыша течёт, кирпич на печь или просто поговорить о своём нелёгком житье-бытье. Председатель каждого внимательно выслушает, хотя не всегда может помочь. Но смотришь, пришёл человек в сельсовет озадаченный, а ушёл обнадёженный на лучшее: помогут не сегодня, так завтра...

Мишку сначала удивляло, что к председателю сельсовета в тесном коридорчике выстраивается очередь. Смешило, что Кот сам себе вменил в обязан-

ность записывать посетителей в тетрадь и следил, чтобы никто никому не мешал, чтобы всё было важно и чинно, как в солидной организации.

Удивляло и то, что Реут всегда вставал, как только посетитель входил в его кабинет, шёл ему навстречу, подавал старику или старухе руку, потом, поддерживая человека под локоть, подводил к старому, потёртому, обтянутому чёрной клеёнкой креслу с подлокотниками, учтиво усаживал.

Разговаривая с мужчиной или женщиной, невысокий кругленький Реут важно ходил по кабинету, заложив руки за спину, и когда посетитель пытался встать, чувствуя себя не в своей тарелке, — сидит перед представителем власти! — говорил:

— Сидите, сидите, уважаемый (уважаемая), — называл по имени и отчеству, — скажите мне, как вы живёте? Как здоровье? Помню, когда прошлый раз приходили, чувствовали себя не очень хорошо.

Реут, как понимал Мишка, знал всех жителей села, память у него была прекрасная. Сейчас вспомнил, что Лидия ни разу, сколько он работал председателем колхоза, почему-то к нему за помощью не обращалась. Наверное, потому, что ей всегда помогал Никодим. А зря! Пришла бы в сельсовет, конечно, с дровишками не отказал бы, к зиме, наверное, выписал бы. А то вишь — сама!.. И что получилось?.. И что сейчас будет?

XI

Самым удивительным и непонятным во всей этой истории с убийством Костки для участкового и председателя сельсовета было то, что, приехав туда, где, если верить Лиде, всё и произошло, они не обнаружили трупа.

И Мишка, и Реут хорошо знали эту делянку — кто же из местных жителей не знает своего леса?

Сразу же нашли место, где Лида собирала дрова. Трава вокруг была приямта, местами вытоптана. Обнаружили клеёнку с остатками пищи. Подошли ближе — с клеёнки взлетели птицы.

Реут в недоумении хотел подфутболить алюминиевую кружку, валявшуюся в траве, но Мишка запретил:

— Ничего не трогай — это улики, на них должны быть отпечатки пальцев.

Бутылки нигде не было, хотя они всё вокруг они хорошо обыскали, осмотрели.

— Ну и дела, — озадачился Мишка, не обнаружив Костки. — Неужели куда в кусты оттащила?.. Если призналась в убийстве, почему об этом не сказала?

— А ты видел, в каком она состоянии?.. Забыла, наверное, — предположил Реут.

— Если спрятала труп, ей же будет хуже.

Мишка присел, вновь стал внимательно осматривать всё вокруг.

— Смотри, кровь, — вдруг ткнул он пальцем в траву. — К ручью тянется.

Реут тоже присел. Увидел на примятой траве капли крови и борозду в мягкой влажной земле, тянущуюся к ручью, бурлившему недалеко за кустами.

— Так и есть, всё же оттащила. Наверное, столкнула в ручей, — сказал Реут.

— Если так, то это уже совсем плохо, — сказал Мишка. — Убила, но пришла с повинной — можно было бы на что-то рассчитывать. А сейчас что?.. Идём.

Мишка, пригнувшись, глядя в борозду, направился к ручью. Реут шёл за ним.

Возле кустов борозда окончилась: пошли следы от кирзовых сапог.

Мишка бросился вперёд через кусты, не обращая внимания на ветви, бьющие по рукам, по лицу, на то, что фуражка слетела с головы.

Реут, ничего не понимая, не спеша шёл следом, пока не услышал за кустами Мишкин почти дикий крик:

— Дядь Николай, живой?!

Реут опешил: что за бред? Бросился на крик. Возле берега в воде на чёрном выворотне спиной к ним сидел Костка. Он медленно черпал руками рыжую воду и обливал голову.

Реут увидел, что руки у Николая в водорослях, водоросли свисают с плеч, с головы, а выше левого уха волосы слиплись.

— Дядька! — вновь закричал Мишка, подбегая к Костке. Он схватил его руками за плечи, стал трясти.

Николай вдруг начал медленно вставать, увидел Мишку в форме, широко открыл рот, вытаращил красные глаза, простонал:

— А... а... Володька?.. Ты откуда здесь?.. Мы же тебя с Котом...

— Какой Володька? Что вы с Котом? — не понял Мишка. — Это я, Мишка, дядь Коль, и Реут со мной... Ты слышишь нас, видишь?

— А... — вновь застонал Костка. — Володька... Нет!.. Сгинь...

Он вдруг попытался вырваться из цепких Мишкиных рук, броситься прочь. Но Мишка потянул его к берегу, где их ждал Реут, и Костка в конце концов пришёл в себя:

— Хлопцы, где это я, что со мной?

— Да здесь, в лесу, дядь Коль! — закричал ему в лицо Мишка. — Слышишь меня?!

— Слышу, слышу... А где же Воло...

Костка осёкся.

— Кто Воло... Володька? Какой Володька? — спросил Мишка.

— Да это так, померещилось, — простонал Костка. — Друг партизанский был такой. Погиб геройски. Мы его с Котом даже похоронить как следует не смогли, в болоте пришлось оставить... А она, гадовка, по голове меня.

Костка приложил руку к голове, потёр возле левого уха.

— По голове, по голове, — с какой-то глупой радостью будто соглашался с ним Мишка. — Бывает... Идти сам можешь?

— Домой? — вдруг отчётливо, словно ничего и не случилось, спросил Костка. — А она, что с ней? Да я её!..

Костка заскрипел зубами, казалось, сейчас выплюнет их.

— Брось, брось, — поморщился Мишка. — Суд разберётся, что к чему.

Лесник, медленно покачиваясь, пошёл через кусты к делянке. Мишка начал искать в траве фуражку. Реут же, стоя в стороне, заметил в кармане Николаевого пиджака горлышко бутылки: “Ну, вот, — подумал он, — сейчас опохмелится, и всё будет, как надо. А то шуму наделали: убила, убила... Тьфу!”

Вместо эпилога

В наши дни в районном городке К., возле автостанции у пивной часто можно встретить двух стариков. Один — высокий, но, несмотря на довольно солидный возраст, ещё крепкий — собирает пустые бутылки. Другой — низенький, морщинистый, тощий, с глупой улыбкой, — всегда держит за плечами пустой мешок.

Эти двое бредут откуда-то из городка сюда, к пивной, и когда здесь собирается очередь, хвастаются какими-то своими заслугами. Все давно знают, что никаких особых заслуг у них нет, знают, кто они такие, относятся к ним снисходительно — интересные старички, живут в пригороде в одном домишке, когда-то купленном ими вкладчину. Также знают, что много лет тому назад они “погрязли” в каком-то деле в селе, в котором жили, и люди их просто изгнали оттуда.

...А в той деревне — в Заливье — большой, стоящей на берегу Друти, сегодня посторонний человек может увидеть возле крайней покосившейся, вросшей в землю хаты очень старую женщину, сидящую на завалинке. Заметив ещё издали человека, женщина медленно поднимается навстречу, долго и пристально всматривается в лицо, потом виновато улыбается: “А я смотрю и гадаю, не мой ли Володька идёт? Но — нет... А потом думаю, не сыночек ли с работы возвращается? Тоже не он, обозналась...”

Человек, не зная, кто такой Володька, где и кто сынок старушки и откуда они должны прийти, ради любопытства спрашивает о них.

Она отвечает:

— А вы разве не знаете? Володька — муж. На войне он. Но слышала, что она окончилась, люди уже вернулись, а его нет и нет... А сынок на работе в районе. Давно ушёл, и тоже нет и нет... Ничего, подожду...

Позже местные люди объясняют, что старушка “сдетинилась” (впала в детство или, если точнее, тронулась умом). Когда-то она ударила одного человека бутылкой по голове. Думала, что убила, а он жив остался, и пока суд да дело, она и... Вот и ждёт с той поры мужа и сына. Муж её, рассказывают, шёл с войны, да где-то затерялся, а сынок ещё маленьким умер...

В селе бабушку не обижают. Люди приносят ей еду, одежду, никто не говорит ей правду о муже и сыне, о том, что война давным-давно окончилась, какие сейчас времена.

Старушку как-то хотели забрать в интернат для людей с нарушенной психикой, даже обещали, что к ней туда придут муж и сын, было, уже почти уговорили, но вовремя возвратился с поля её сосед Никодим. Он начал стыдить приезжих, а бабушке сказал, что и муж, и сын придут сюда.

Это был Коя, бобыль. Вскоре после того, как женщина тронулась умом, он оформил над ней опекунство и сейчас смотрит за ней, как сын за матерью. Возвращаясь с работы, ведёт её с улицы в хату, приговаривая: “Потерпи ещё немножко, мамаша, придут. Уже скоро придут...”

И она успокаивается, говоря: “Потерплю, Никодимушка, потерплю. Придут. Ты же никогда меня не обманывал”.